

В. ВЕРЕСАЕВ

4

В ВЕРЕСАЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

4
ТОМ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1961

Подготовка текста
и примечания
Ю. У. Бабушкина.

К ЖИЗНИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Алексея выпустили.

Мы с ним поселились на краю города. Сняли у вдовы мелочного лавочника Окороковой две передние комнаты ее ветхого домика. Алеша сильно осунулся, но от побоев совсем оправился. Он по-всегдашнему молчалив, не смотрит в глаза и застенчиво принимает мои заботы о нем.

У меня много беготни и хлопот по району, редко приходится бывать дома. Алексей меня ни о чем не спрашивает, со смешным, почтительным благоговением относится к тому таинственному, что я делаю; с суетливой предупредительностью встречает проходящих ко мне. Что-то есть в нем странно-детское, хоть он мне ровесник. Когда я иду куда-нибудь, где есть хоть маленький риск, он молча провожает меня любящими, беспокойными глазами. Очень мы разные люди, а ужасно я его люблю.

Выпустили также многих товарищей. Выпустили, говорят, и Иринарха. Попался в сети, как лягушка среди карасей, а просидел три месяца.

Всегда мне странно и смешно бывает, когда приходится зайти к Катре. Каждый раз в другом платье, необычном, каких никто не носит, как будто в маскараде, а между тем странно идет к ней. И прическа, и все. И думаешь: «Эге! Вот еще какая у тебя красота!» И думаешь: «Господи! Сколько на это трудов кладется! Вот тоже — труженица!»

У нее сидел за кофе Иринарх. Расцеловались с ним. Он рассеянно положил себе горку сухарей и продолжал говорить:

— Да, так вот... Ужасно было интересно в тюрьме. Я прямо жалел, когда выпустили. Эти мужички с недоумевающей мыслью в глазах. Рабочие, как натянутые струны. Огромнейшая книга жизни. Евграфову видел, — интересно. Бледная, с горящими глазами, настоящая христианская мученица, с огромною трагическою жизнью в душе. А заговорит, — боже мой! Любовь к людям, избавление их от страданий, социалистический строй... И чем бы она жить стала в этом будущем благолепии!.. Удивительно, как люди не умеют жить настоящим! Такое яркое, интересное время, никогда лучше не бывало. А они все о каком-то будущем. Хорошо у Ибсена сказано: «Ненавижу я это вялое слово — будущее!..»

Что-то в Иринархе было новое, какая-то найденная идея. Глаза светились твердым, уверенным ответом, а раньше они смотрели выжидающе, со смеющимся без веры вопросом.

Но я спешил.

— Катерина Аркадьевна, можно вас попросить на пару слов?

Мы вошли с нею в гостиную. Наедине обоим было неловко, — встало то странное и жуткое, что недавно так тесно на минуту соединило нас. Как тогда, ее чуть слышно окутывал весенне-нежный, задумчивый запах тех же духов. И в воспоминании запах этот мешался с запахом керосина и пыли.

— Можете вы нам дать послезавтра квартиру?

В ее глазах мелькнули усталая скука и насмешка.

— Опять будете препираться о «текущем моменте»?.. Хорошо...

— Благодарю вас.

Товарищи расходились. Окурки торчали в земле цветочных горшков; в тонком аромате гостиной стоял запах скверного табаку. Оставались только я с Алексеем, Турман и Дядя-Белый.

Вдруг вошла Катра — любезная, радушная. Она поздоровалась и стала звать нас ужинать. Турман и Дядя-Белый с недоумением оглядывали ее, стали отказывать-

ся. Катра настаивала. Они усмехнулись, пожали плечами и пошли в столовую.

Там опять сидел Иринарх. Как всегда, он сейчас же овладел разговором. И у него был всегдашний странный его вид: на губах улыбка какого-то бессознательного юродства, в наклоненной вперед крутолобой голове что-то бычачье и как будто придурковатое, а умные глаза наблюдающе приглядываются.

— В воздухе носится это решение — любовь к жизни. Ницше, Гюйо, Беклин, Григ, Гамсун, Толстой, Достоевский, — с разных концов, мыслью, художественным чутьем, — все приходят к тому же: к пониманию громадной ценности жизни как она есть. Особенно в этом отношении великолепен Лассаль. Он впитал в себя все разрозненные элементы, носившиеся в воздухе, и вырос в истинного человека. Мы наивно ищем блага в будущем, ищем в религии веры в сохранение ценности жизни, — это верно определяет Геффдинг. А ценность-то жизни, а благо-то это — кругом. Нужно только протянуть руку и брать полными горстями.

Турман молча сидел, заложив руку за пояс блузы, непрерывно курил и своим темным взглядом смотрел на Иринарха. Дядя-Белый внимательно слушал.

Иринарх обратился к ним:

— Скажите, пожалуйста, вы вот боретесь. Много терпите в борьбе. Стремитесь к чему-то... За что вы боретесь? К чему стремитесь?

Дядя-Белый поднял брови и слегка усмехнулся.

— К чему? Вам бы это должно быть известно.

— Простите, я совершенно серьезно говорю: мне неизвестно.

— К тому, чтоб всем было хорошо.

— А зачем нужно, чтоб всем было хорошо?

Дядя-Белый с удивлением смотрел. Иринарх ждал со скрытою улыбкою, как будто он знал что-то важное, чего никто не знает.

— Не понимаю вас.

— Что значит «хорошо»? Чтоб была свобода, чтоб люди были сыты, независимы, могли бы удовлетворять всем своим потребностям, чтоб были «счастливы»?

— Ну да!

— Гм! Счастливы!.. Шел я как-то, студентом, по Невскому. Морозный ветер, метель, — сухая такая, колющая.

Иззябший мальчугашка красною ручонкою протягивает измятый конверт. «Барин, купите!» — «Что продаешь?» — «С...сча...астье!» Сам дрожит и плачет, лицо раздулось от холода. Гадание какое-то, печатный листок с предсказанием судьбы. — «Сколько твое счастье стоит?» — «П-пятачо-ок!..»

Иринарх удивительно изобразил мальчика, — так и зазвенел плачущий, застуженный детский голосок.

Турман шевельнулся на стуле и враждебно оглядывал Иринарха.

— Он на этот пяточок сыт стал!

— Верно. А все-таки цена-то его счастью — «пя-тачо-ок!» Сыт — разве же это счастье!.. А что даст будущее, если оно, боже избави, придет? Вот этот самый пяточок. Разве же за это возможна борьба? Да и как вообще можно жить для будущего, бороться за будущее? Ведь это нелепость! Жизнь тысяч поколений освящается тем, что каким-то там людям впереди будет «хорошо жить». Никогда никто серьезно не жил для будущего, только обманывал себя. Все жили и живут исключительно для настоящего, для блага в этом настоящем.

Я сдержанно спросил:

— В чем же это благо?

— В чем!.. Оно так ясно, так очевидно, — его можно определить строго математически, как звук или свет. Чем определяется звук, свет? Числом и размахом колебаний в секунду. Целиком так же определяется и благо. Радость — великолепно! Странствие — великолепно! Радость — странствие! Радость — странствие! Быстрее, ярче, сильнее! Раз-раз-раз! А мы страдания боимся, проклиная его. Утешаемся будущим, когда страдания не будет... Как верно Шопенгауэр сказал: «После того как человек все страдания и муки перенес в ад, для рая осталась одна скука».

Катра слушала и внимательно наблюдала товарищей. Раза два она искоса взглянула на меня, как будто вызывала: ну-ка, возразите!

Иринарх говорил словно пророк, только что осиянный высшею правдою, в неглядящем кругом восторге осияния. Да, это было в нем ново. Раньше он раздражал своим пытливо-недоверчивым копанием во всем решительно. Пришли великие дни радости и ужаса. Со смеющимися чему-то глазами он совался всюду, смотрел, все гло-

тал душою. Попал случайно в тюрьму, просидел три месяца. И вот вышел оттуда со сложившимся учением о жизни и весь был полон бурлящею радостью.

Он продолжал:

— О-ох, это будущее!.. Слава богу, теперь сами все в душе чувствуют, что оно никогда не придет. А как раньше-то, в старинные времена: Liberté! Egalité! Fraternité!¹ Сытость всеобщая!.. Ждали: вот-вот сейчас все начнут целоваться обмякшими ртами, а по земле полетят жареные индюшки... Не-ет-с, не так-то это легко делается! По-прежнему пошла всеобщая буча. Сколько борьбы, радостей, страданий! Какая жизнь кругом прекрасная! Весело жить.

Турман опять двинулся на стуле. Он тяжело бросил на Иринарха свой темный взгляд и злобно усмехнулся.

— Весело... Очень весело! Спасибо вам, господин, за такую веселость! Не весело, а скверно жить! Тяжело жить!

— Тяжело? Боритесь! Поднимайтесь выше!

Турман в изумлении и негодовании смотрел на него.

— Индюшки полетят?.. Полетят индюшки?.. Пятачок будет?.. Говорите: боже избави?

— Боже избави! — твердо и решительно ответил Иринарх.

— Не надо этого?

— Не надо.

— Надо! — крикнул Турман. Он, задыхаясь, наклонился над столом и пристально смотрел в глаза Иринарху. — Вот что я вам заявляю: надо, чтоб это пришло через десять — пятнадцать лет. Слышите? — Турман грозно постучал ладонью по столу. — Через десять — пятнадцать лет, не дольше!

Он встал и оглядывал всех, как будто вдруг проснулся и увидел кругом незнакомых людей.

— Вы, господа, — интеллигенция, вы понимаете социологию. Мы ее мало понимаем. Может быть, по научным там всяким законам мы людьми станем через сотню лет... Так врете нам, а говорите, что это близко. А то слишком скверно жить. Нам скверно жить, невозможно жить, а не «весело»!

Дядя-Белый все время с недоумением слушал Иринар-

¹ Свобода! Равенство! Братство! (франц.)

ха,— слушал, мучительно наморщив брови, стараясь понять. Он раздумчиво заговорил:

— Вы мало знаете нашу жизнь. Ничего в ней веселого нету. Все время от всех зависишь,— раб какой-то. Сегодня на работе, а завтра сокращение, завтра не потрафил мастеру, шепнули из полиции,— и ступай за ворота. А дома ребята есть просят... Унижают эти страдания, подлецом делают человека...

Иринарх просиял торжеством.

— Вот, вот это самое!.. Есть страдания, которые унижают, и из них рвется человек к другим страданиям, к тем страданиям, которые...

Турман не слушал. Он взволнованно метался по комнате, отыскивая свою фуражку. Отыскал, остановился боком и теми же проснувшимися глазами окинул богатую сервировку стола, изящную Катру, внимательно наблюдавшую его из кресла.

— Что будет! — прервал он Иринарха. — В морду всем можно будет засветить. Всем, кто того стоит! Вот что будет!.. Сенька, пойдем! Пойдем, Сенька, не оставайся!

— Да, пора идти. — Дядя-Белый грустно поднялся.

Турман искося бросил на меня выжидающий взгляд. Они ушли.

Иринарх ходил по комнате и в восторге потирал руки.

— Но ведь этот черный — это великолепнейший хищный зверь! Какая ненависть в глазах!.. Погодите, он еще всем вам покажет свои коготки! Ну и что, что такому делать при всеобщем благополучии? Ведь именно ненависть — это и наполняет его жизнь огромнейшим содержанием! Ужасно он много дал для моей мысли... И как характерно: люди стремятся — и совершенно не понимают: к чему? Теряются, не могут ответить. Огромное стремление, а впереди — только какой-то смутно-золотистый свет. Удивительно, как это у вас нет пророков. Ведь именно при таких-то условиях они и должны бы греметь.

Мы с Алешей уходили. Катра со скрытою насмешкою следила за мною. В передней она спросила:

— Отчего вы ничего не возражали Иринарху Ильичу? Я наусупился.

— Разве можно было ответить лучше, чем ответил Турман?

— А я думаю, вам просто нечего было возразить,— презрительно и устало сказала Катра.

Я пожал плечами.

Мы шли домой. На душе было весело. Не люблю я Катры— и как она бесится, что на все ее вызовы я отвечаю вежливым молчанием!

Алексей все споры слушал с странно-пристальным, принимающим к сведению вниманием. Мы шагали по тропинке среди сугробов. Он сдержанно спросил:

— А какой же ты смысл видишь в настоящем? Оно имеет значение только в виду будущего?

— Да как это можно разделять? Будущее, настоящее... Все равно что стараться ножом отделить в организме жизнь от материи. Жизнь радостна, прекрасна, потому что освещена будущим, и, конечно, дай бог, чтобы будущее как можно скорее пришло... Какой-то разврат душевный копаться в этом. Болтун! Почему же он ничего не делает?

Алексей замолчал и не возражал.

Как огромные струны, еще пели приводные ремни. Подрагивали стены, и быстрые отсветы мелькали по стальным рычагам. Но люди толпились в середине, и подходили все новые из других мастерских.

В замасленной блузе рабочего я говорил, стоя на табурете. Кругом бережным кольцом теснились свои. Начал я вяло и плоско, как заведенная шарманка. Но это море голов подо мною, горящие глаза на бледных лицах, тяжелые вздохи внимания в тишине. Колдовская волна подхватила меня, и творилось чудо. Был кругом как будто волшебный сад; я разбрасывал горсти сухих, мертвых семян,— и на глазах из них вырастали пышные цветы братской общности и молодой, творческой ненависти.

Когда приходишь домой,— из большого, яркого мира вдруг попадаешь во что-то маленькое, узенькое, смирное. Алеша сидит в своей накуренной комнате, сгорбившись над столом. Моя комната большая, а его — очень маленькая. Он ее выбрал себе,— уверял, что любит тепло. Но сделал он это по своей обычной упорной деликатности.

Сидит он за маленькой лампочкой с бумажным колпаком и старательно пишет. Красиво пишет своим аккуратным почерком конспект прочитанной книжки. Если

что нужно вычеркнуть, он вырывает из тетрадки всю страницу и переписывает. Конспектирует и ничтожнейшие брошюры. Часто мне в голову приходит вопрос, — чем он живет? Застенчивый, молчаливый, нелюдимый. Никогда он не смотрит в глаза — даже мне, двоюродному своему брату, а мы с детства росли вместе. Ничем особенно не интересуется. Читает мало, принуждая себя, то, что я уж очень расхвалю. В комнате у него так все аккуратно разложено, так чисто. Это всегда признак бедной духовной жизни.

Пьем с ним чай. Своим всегда неестественным голосом он говорит, не глядя в глаза:

— Ходил сейчас ко всенощной к Спасу, слушал шестопаловских певчих. Вот здорово поют! Особенно «Свете тихий». Чудная у них новая октава. Шестопалов недавно привез из Мценска... После всенощной зашел к Маше. Нет, она действительно ненормальна, это несомненно.

— Опять тетя Юля ваша мутит?

— Заявила, что Маша ей мешает спать по утрам, когда встает. И Маша из большой комнаты перебралась в переднюю. Там спит. Говорит, великолепно. А от двери дует черт знает как!.. Положительно, сама себя она валит в могилу.

Алеша украдкой глядит на меня и осторожно спрашивает:

— Ты не зайдешь к ней?

Ох, эти родственные обязательства! Я морщусь.

— Да некогда, дела много.

Алеша темнеет. В нем вообще очень силен семейный патриотизм, а сестру Машу он любит с восторженным умилением. Перемогая себя, сам тяготясь своею настоячивостью, он говорит коротко:

— Шестого ее рождение.

— Ну, зайду тогда.

Алеша благодарно глядит.

В освещенных, завешанных тряпками окнах флигелька метались тени. Мы с Алешей стояли на крыльце двора.

— Ты верно видел, пьян он?

— Пьян.

— Ну, значит, бьет.

Когда Гольтяков пьян, его охватывает буйная одержимость, он зверски колотит Прасковью. Она — худенькая, стройная, как девочка, с дикими, огромными глазами. У меня и у Алеши жалостливая влюбленность в нее. Мучают и волнуют душу ее прекрасные, прячущие страдание глаза. Горда она безмерно. Все на дворе знают, что с нею делает муж, а она смотрит с суровым недоумением и резко обрывает сочувственные вопросы.

Мы растерянно стояли. Трепала дрожь. В флигельке звучали заглушенные стоны, отчаянно плакал ребенок... И нельзя ничего сделать, нельзя броситься на помощь!

Да, учит жизнь! Сколько раз за этот год, в самых разнообразных случаях, приходилось переживать вот это самое, — стой, стиснув зубы, когда тянет броситься вперед, — гнусно кипи и перекипай внутри себя.

Вздымаются волны все выше. Весело жить! Работы страшно много, беготня с утра до вечера. К циглеровцам присоединяются все новые и новые заводы.

Вчера примкнули староносовцы, где Дядя-Белый. Через три дня предстояла получка. Дядя-Белый предложил присоединиться после получки. Поднялись крики, упреки: — Трус! Предатель... Сейчас же все бросай работу!

И с песнями ушли из мастерских. А присоединились только из сочувствия.

Забегал к Катре, попросил вызвать ее. Горничная сказала, что выйти она не может, а просит к себе.

В «будуаре», — кажется, так это называется, — сидели толстый адвокат Баянов и приезжий из столицы юноша. Катра с радостной улыбкой встала навстречу. Какая-то особенная у нее улыбка, — медленная и яркая: всю ее эта улыбка освещает изнутри.

Я сказал, что спешу. Она как будто не слышала, усадила меня. Почему она не могла ко мне выйти?

Юноша неестественно-поющим голосом читал стихи. Гибкие, певучие звуки баюкали внимание, трудно было понять, о чем речь.

Я пересидел стихи, подошел к Катре. Смеясь глазами, она взяла меня за локоть и сказала:

— Пожалуйста, посидите ~~четверть~~ часа, — мне нужно с вами поговорить.

Юноша еще читал стихи. Шла речь о каких-то неслыханных «дерзаниях», о голых женских телах, о громовых беседах с «братом-солнцем»:

Брат мой солнце! Ясный, ярый,
Пьяный жаром старший брат!

Тонкая шея туго была стянута высоким крахмальным воротничком. Неврастеническое лицо, длинные влажные пальцы. На что, кроме пакости, способен «дерзнуть» этот заморыш! Девочку растлить, обольстить и бросить с ребенком горничную,— другого никак я не мог себе представить.

— Извините, я не понимаю. Что такие за дерзания?

Вышел спор. Я говорил о громадности и красоте дерзаний, которыми полна действительная жизнь. Он неохотно возражал, что да, конечно, но гораздо важнее дерзание и самоосвобождение духа. Говорил о провалах и безднах души, о божестве и сладости борьбы с ним. А Катра заметно увиливала от разговора наедине. Ее глаза почти нахально смеялись надо мною. Мне стало досадно,— чего я жду? Встал и пошел вон.

Катра вышла следом. Я молча надевал пальто.

— Погодите, ведь вам что-то было нужно?

Я презрительно ответил:

— Вам, я вижу, это неудобно. Тогда не надо... До свидания.

Катра вспыхнула.

— Вы воображаете, я боюсь... Что вам нужно?

Я сказал.

— Хорошо, я согласна.

— Так я пришлю Алешу.

Катра с враждебной и вызывающей насмешкой взглянула на меня.

— Знаете, Константин Сергеевич,— я согласна только потому, чтобы вы не воображали, будто я боюсь... А все это до тошноты противно, скучно и пошло. «Транспорт»... Зачем целый транспорт, когда всю вашу литературу можно пронести в жилетном кармане? «Эксплуатация», «классовая борьба», «организация», «предательство буржуазии»... Господи, и неужели кто-нибудь читает это!

Много шелухи поднялось в воздух с ураганом, грозно загудело в нем — и бессильно упало наземь, когда ураган

стих. Я думал, Катра не из этих. Но и она как большинство. Ее радостно и жутко ослепил яркий огонь, на минуту вырвавшийся из-под земли, и она поклонилась ему. Теперь огонь опять пошел темным подземным пламенем,— и она брезгливо смотрит, зевает и с вызовом рвет то, чем связала себя с жизнью.

А был миг. Я его не забуду. Сквозь мою вражду к ней, сквозь презрение к ее переметчивости этот странный миг светится в воспоминании, как вечерняя звезда в узком просвете меж туч.

Толпы дико побежали по Большой Московской. Все ворота и калитки были предательски заперты. Падали люди. Я вырвал Катру из топчущего, мчащегося человеческого потока; мы прижались к углублению запертой двери.

Бледный мальчик, прижимая руку к боку, набежал на нас.

— Ай-ай-ай-ай!.. Настоящие пули!

— Мальчик! Сюда иди, сюда!

Он непонимающими глазами оглядел меня и побежал дальше и повторял:

— Настоящие пули!

Наискосок через улицу, наклонившись, бежал под пулями Иринарх и закрывал голову поднятым локтем, как будто над ним вился рой пчел. Из Ломовского переулка, как шакалы, выглядывали молодцы лабазника Судоплатова с дубинками.

Подбежал студент с простреленной рукой. Эсер — он не раз выступал против меня на митингах. Ухватившись за косяк, он безумно смотрел, как судоплатовцы с воем и свистом ринулись наперерез бежавшим, как замелькали в толпе их дубинки.

Сзади нас была железная дверь какого-то подвала. Висел замок. Я дернул, — он не был заперт. Быстро я отодвинул засов.

— Товарищи! Сюда!

Мы с Катрою проскользнули в дверь. Но студент стоял как околдованный и все смотрел.

— Да идите же, товарищ! Скорее, а то увидят!

Я втащил его в подвал, замкнул дверь. Крутые каменные ступеньки шли вниз. Громоздились до потолка пыльные бочки, деревянная скамейка пахла керосином. Странно-тихо золотились пылинки в узком луче солнца. На

улице трещали револьверные выстрелы, и молниями прорезывали воздух вопли избиваемых.

По рукаву студента текла кровь.

— Вы ранены. Садитесь, перевяжем.

Как в гипнозе, он сел. Катра засучила ему рукав, стала перевязывать носовым платком рану. В замершем порыве студент безумными глазами смотрел на дверь, и душа его была не здесь.

Затопали ноги, со стоном грохнулся кто-то за дверью.

— За что бьете?.. Злодеи!.. ааа-аа!!

Студент рванулся, роняя на пол окровавленный платок.

— Боже мой, а я здесь сижу!.. Пустите меня!

— Сидите, товарищ!

— Пустите! Господи, какие мы подлецы! Мы их звали, мы вместе с ними должны и погибнуть!

— Вы с ума сошли! Какой в этом смысл?

Он с презрением оттолкнул меня и бросился по крутым ступенькам к двери.

— Ведь вы без оружия! У вас помутилось в голове, очнитесь!

— Мы должны с ними умереть!

Я его удерживал, но душу с дрожью вдруг охватил стыд и горький восторг. Лязгал под руками студента отодвигаемый ржавый засов. Смерть медленно накладывала свою печать на его бледное лицо. И вдруг преобразилось это лицо и вспыхнуло живым, сияющим светом. Он выбежал на улицу.

Громкий вызывающий крик, полный восторга и муки:

— Да здравствует!..

И топот ног. Рев человеческих гиен. И глухие удары.

Я неподвижно стоял. Мир преобразился в безумии муки и ужаса. Весь он был здесь, где золотой луч тихо вонзался в грудь пыльных бочек, где пахла керосином жирная скамейка. Кругом — кровавое, режущее кольцо, а дальше ничего нет.

Из полумрака на меня смотрели огромные глаза с бледного, прекрасного, восторженного лица. Охватывал душу безумный восторг от какой-то чудовищной, недоступной уму правды. Я взглянул на Катру.

Все было сказано без слов.

— Идем!

Огромные глаза ее все смотрели на меня. Грудь взды-

малась, как будто не могла вместить того, что открылось душе.

— Да. Идем... Погодите. Прощайте, товарищ!

В первый раз она сказала это слово «товарищ».

Руки раскрылись, мы обнялись и крепко поцеловались. В запахе пыли, керосина и кровавого ужаса от свежего лица пахнуло весенним запахом духов.

Улица была уже пуста. Ее опять откуда-то обстреливали. Валялся у дверей аптекарского магазина пыльный труп в кроваво-черных обрывках студенческой тужурки.

Мы медленно шли вдоль улицы. Пули жужжали, с визгом рикошетировали от камней.

— Товарищи! О боже мой... Товарищи!..

Ерзая руками по мостовой, у тумбы лежал рабочий с простреленною ногой.

— Товарищи!.. Не бросайте меня!.. О боже мой!.. Жена у меня, четверо ребят...

Я схватил его под мышки, приволок к ближайшему крыльцу. От соборной площади бежали с дубинками пьяные молодцы из холодных лавок. Катра метнулась к двери. Она была старая, на старом, непрочном замке.

— Смотрите! Можно выдавить!

Я ударил плечом, дверь распахнулась. Мы втащили раненого. В конце старенькой галерейки чернела обитая клеенкой дверь.

Раненый стонал. Перебитая нога моталась.

— Товарищ, тише! Сберегите все силы, молчите! Услышат черносотенцы или из квартиры выйдут. А бог весть, кто там живет.

— О-о-о... Погодите!.. Ну... Ну, вот!

Он вцепился зубами в полу пальто и замер, дрожа и всхлипывая.

Но клеенчатая дверь уже раскрывалась. Выглянул седой, полный господин в тужурке отставного полковника.

— Это что такое?!

Он вышел и, бледнея, оглядывал нас.

— Сейчас же уходите! Что вам тут нужно?.. Уходите, уходите! Я не сочувствую революционерам!

Катра выпрямилась и смотрела на него темными, презирающими глазами.

— Здесь, полковник, не революционер, а раненый, вы сами видите. Пьяные дикари будут его сейчас добивать.

— Господа, господа... Это меня не касается... Сейчас же уходите, я не могу.

Полковник волновался и прислушивался к крикам на улице. Катра в упор смотрела на него.

— Храбрый вы человек!.. Мы не пойдем. Вытолкайте нас.

Хороша она была в этот миг! Полковник сконфузился.

— Но согласитесь, господа... Ну, хорошо!.. Несите его скорее в квартиру!

Он суетливо запер наружную дверь на крюк. Мы потащили раненого в переднюю.

Грозно и властно зазвенел звонок. В дверь посыпались удары. Слышались крики. Полковник побледнел, оправил тужурку и пошел по галерее.

Дверь затрещала и распахнулась. Мы замерли.

Слышно было, как полковник кричал и топал ногами.

— Не видите, кто я?.. Чтоб я у себя кого прятать стал? Вон!.. По телефону губернатору... Всех вас в тюрьме перегною!

Задыхаясь и отдуваясь, полковник воротился к нам.

— Негодяи этакие!.. Понесем его в спальню, там перевяжем.— Он с гордостью остановился перед Катрой и развел руками.— Ну-с! Надеюсь, вы меня теперь ни в чем не можете упрекнуть!

Катра удивленно взглянула на него.

— Но ведь вы были бы подлец, если бы поступили иначе!

Попал я к Маше на рождение только в десятом часу вечера. Алеша был там уже с обеда.

Маша радостно встретила меня, поцеловала долгим, умиленным поцелуем и благодарно прошептала:

— Спасибо, что пришел!

Большие кроткие глаза, и, как из прожекторов, из них льются снопы света. Алеша называет ее «Мадонна».

Сидела, приторно улыбаясь, их тетка Юлия Ипполитовна. Она обратилась ко мне:

— Костя, скажите вы: ну, разве идет Маше эта голубенькая кофточка?

— Очень идет.

Юлия Ипполитовна со снисходительною насмешкою пожала плечами.